

Николай Семёнович Лесков

Герои Отечественной войны

по гр. Л.

Н. Толстому



Николай Лесков

**Герои Отечественной
войны по гр. Л. Н. Толстому**

«Public Domain»

1869

Лесков Н. С.

Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому /
Н. С. Лесков — «Public Domain», 1869

Статья Лескова была написана в связи с выходом отдельным изданием тома пятого «Войны и мира» в 1869 году. Выход очередного тома романа вызвал новую волну отзывов о великом произведении; в возникшую полемику включился своей статьей и Лесков.

Содержание

I. Рассуждающий смертный	5
II. Князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов	10
III. Граф Растиопчин	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Николай Семенович Лесков Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому

I. Рассуждающий смертный

Пятый том «Войны и мира» только что на днях вышел и до сих пор прочитан, вероятно, весьма немногими. Долгожданный, том этот, против всеобщих ожиданий, не заканчивает собою художественного и интересного сочинения гр. Толстого. Романическое движение во всех трех частях этого последнего тома относительно очень невелико, но мы в своей газетной статье не можем в подробностях следить и за этим. Признавая все значение, какое имеет новое сочинение графа Льва Николаевича для литературы, мы не можем посвятить ему такого критического разбора, какого прекрасное сочинение это заслуживает. Это дело месячных журналов, имеющих все удобства и все обязательства заняться подробным разбором всех сторон такого крупного литературного явления, как «Война и мир». Мы желаем дать только отчет об этой книге и познакомить своих читателей с интереснейшими деталями исторических дней двенадцатого года. С такую задачу мы начинаем нашу статью, которую и просим отнюдь не считать попыткой написать критику.

Романические передвижения в пятом томе заключаются в следующем. Ростовы уезжают из Москвы, Наташа встречается с раненым князем Андреем Болконским; Николай Ростов уезжает во время войны ремонтером в Воронеж и встречается там с княжной Марией; затем кн. Андрей умирает на руках Наташи и кн. Марии; Helene Безухова собирается выйти замуж за двух разом и умирает, приняв неосторожно усиленную порцию какого-то секретного лекарства; Пьер Безухий собирается убить Наполеона, долго остается в плену у французов и вообще мычет горькую жизнь. Все это, столь бесцветное в сухом перечне, в каком оно здесь представлено, конечно, рассказано Толстым опять с огромным мастерством, характеризующим все сочинение. В пятом томе, как и в четырех первых, нет утомительной или неловкой страницы и на всяком шагу попадаются сцены, чарующие своею прелестью, художественною правдою и простотою. Есть места, где простота эта достигает необычной торжественности, и, как на образчик красот подобного рода, мы позволим себе указать на описание предсмертных дней и самой кончины князя Андрея Болконского. Прощание князя Андрея с сыном Никулушкою; мысленный или, лучше сказать, духовный взгляд умирающего на покидаемую жизнь, на горести и заботы окружающих его людей и самый переход его в вечность – все это выше всяких похвал по прелести рисовки, по глубине проникновения во святая святых отходящей души и по высоте безмятежного отношения к **смерти**. С этою страницей у нашего талантливого писателя мы могли бы поставить рядом лишь одну известную страницу, на которой пером Диккенса описана смерть маленького Домби, где некто нисходит под розовые занавесы постели больного ребенка и руководит переходом души его в одну из обителей, которых много у нашего отца; но страница, написанная нашим художником, далеко превосходит ту блестящую страницу Диккенса, о которой мы вспоминали и которая считается образцом описаний сцен подобного торжественно-грустного рода. Она превосходит ее простотою, силою и безэффектностью, в которой, собственно, и заключается свой великий и недостижимый эффект. Здесь нет «розовых занавес» даровитого Диккенса, здесь просто **отход души** – серьезный, но не страшный, торжественный, но не эффектированный. Это описание сравнительно проще всего в этом роде, как строгая творческая музыка композитора-драматурга по сравнению с шумихою трелей мотивиста.

Берем эту страницу за образец красот пятого тома сочинения гр. Толстого и делаем из нее выписку.

Дело идет таким образом: князь Андрей умирает от раны. Раненый, он встретился случайно с Наташей и остался на ее попечении. Он рад этой встрече. Между ним и Наташей не происходит никаких объяснений по поводу ее измены ему и всей ее печальной истории с Курагиным. И князь и Наташа молчат и снова любят друг друга. Вот как описывает автор своим волшебным пером отношения кн. Андрея к Наташе прежде, чем доходит до самой смерти Болконского:

«Это было вечером. Он (кн. Андрей) был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны; Соня (приемыш Ростовых и невеста их сына Николая) сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

«Она. Это она вошла», – подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.

С тех пор, как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле, боком к нему, заслоняя от него свет свечи, и вязала чулок. (Она выучилась вязать чулки с тех пор, как кн. Андрей сказал ей, что никто так не умеет ходить за больными, как старые няньки, которые умеют вязать чулки, и что в вязании чулка есть что-то успокоительное.) Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка сталкивающиеся спицы, и задумчивый профиль ее был ясно виден ему. Она сделала движение, клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечу рукою, осторожным, гибким и точным движением изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение.

Он смотрел на нее не шевелясь и видел, что ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыхание.

В Троицкой Лавре (во время путешествия раненого и Ростовых из Москвы) они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что если бы он был жив, он благодарил бы вечно бога за свою рану, которая свела его опять с нею, но с тех пор они никогда не говорили о будущем.

«Могло или не могло это быть? – думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. – Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть?.. Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего на свете. Но что же делать, ежели я люблю ее?» – сказал он и вдруг невольно застонал по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.

Услыхав этот звук, Наташа положила свои чулок, перегнулась к нему ближе и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.

– Вы не спите?

– Нет, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли. Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины, того света. Мне так и хочется плакать от радости.

Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженной радостью.

– Наташа, я слишком люблю вас: больше всего на свете.

– А я? – она отвернулась на мгновение. – Отчего же слишком? – сказала она.

– Отчего слишком? Ну, как вы думаете? как вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив? Как вам кажется?

– Я уверена, я уверена! – почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.

Он помолчал.

Эта сцена происходит перед самой смертью князя, и вот начинается описание смерти. Наташа убеждает князя уснуть. Это нужно для его здоровья. Он послушался ее и решился заснуть.

Он выпустил, пожав, ее руку, и она перешла к свече и опять села в прежнее положение. Два раза она оглянулась на него, глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется, пока не кончит его.

Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг, в холодном поту, тревожно проснулся.

Засыпая, он думал все о том же, о чем думал все время, – о жизни и смерти, больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

«Любовь? Что такое любовь?» – думал он

«Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что я люблю. Любовь есть бог, и умереть, значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Мысли эти показались ему утешительными; но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне-личное, умственное, не было очевидности, и было тоже беспокойство и неясность Он заснул.

Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, является перед кн. Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Кн. Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые остроумные слова. Понемногу, незаметно, все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает, идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит она. Но в то же время, как он бессильно, неловко берется за дверь, это что-то ужасное с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то нечеловеческое, смерть, ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия, – запереть ее уже нельзя, хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется.

Еще раз оно надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вышло, и оно есть смерть. И кн. Андрей умер.

Но в то же мгновение, как он умер, кн. Андрей вспомнил, что он спит, и, в то же мгновение, как он умер, он сделал над собою усилие, проснулся.

«Да, это была смерть. Я умер, я проснулся. Да, «смерть-пробуждение», – вдруг просветлело в его душе – и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была поднята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.

С этого дня казалось для кн. Андрея, вместе с пробуждением от сна, пробуждение от жизни, и относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения.

Ничего не было страшного и резкого в этом относительно медленном пробуждении.

Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались, и в последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем, за его телом. Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо.

Какая простая и поистине прекрасная, неподражаемая картина смерти? Ни в прозе, ни в стихах мы не знаем ничего равного этому описанию. Это не шекспировское «умереть-уснуть», ни диккенсовское «быть восхищенным», ни материалистическое «перейти в небытие», – это тихое и спокойное **«пробуждение от сна жизни»**. Глядя таким взглядом на смерть, – умирать не страшно. Человек уходит отсюда, и это хорошо. И чувствуешь, что это хорошо, и окружающие его чувствуют, что это в самом деле хорошо, что это прекрасно. Одно это представление дает нам чувствовать в мирозерцании автора нечто иное, не похожее на мировоззрение целой плеяды других наших писателей, и мы вправе сожалеть, что сочинение графа Толстого не может ожидать себе в наше время талантливой критической разбора. Мы знаем, как глядят и как взглянут на этот том те, которые у нас считают себя критиками. Каждый из них станет прикидывать его на масштаб своих **направлений** и похвалит его за то, в чем найдет нечто отвечающее его направлению, и злобно укорит за то, что ему покажется вредоносным для этого направления. Это уже было, и это будет снова, но так будет долго и долго, пока тяжелые судьбы нашей литературы будут оставлять ее без критических талантов. Графа Толстого уже упрекали в том, что он «сентиментал», «фаталист и миндальник»; другие столь же глубоко проникали свойства его творчества и хвалили его за какой-то особого рода реализм, **здоровый реализм**, имеющий честь нравиться схоластикам-идеалистам; теперь недостает, чтобы за приведенную сцену его упрекнули в **поповстве**, и этому нимало не мудрено случиться, и это опять будет столь же неосновательно, как укор в сентиментальности и похвала за особый реализм.

Но возвращаемся к роману. Красот, равных или подходящих по своему значению к выписанному нами образчику, немало заключается в пятом томе «Войны и мира», и выписывать их мы не можем в нашей, по необходимости ограниченной в своих размерах, статье. Дорога местом, мы должны оставить романическое положение лиц и обратиться к историческим картинам отечественной войны, нарисованным автором с большим мастерством и с удивительной чуткостью. Этим мы смело надеемся доставить много интереса всем нашим читателям, которые не успели еще сами прочесть пятого тома «Войны и мира», а таких должно быть немало по всем углам и захолустьям русского царства, куда заходит наша газета и куда дорогой роман графа Толстого, при всем его громадном у нас успехе, попадет, вероятно, еще весьма не скоро. Может быть, военные специалисты найдут в деталях военных описаний графа Толстого много такого, за что они снова найдут возможным сделать автору замечания и укоризны вроде тех, какие ему уже были от них сделаны, но, по истине говоря, нас мало занимают эти детали.

Мы ценим в военных картинах Толстого то яркое и правдивое освещение, при котором он нам показывает марши, стычки, движения; нам нравится самый **дух** этих описаний, в котором волею-неволею чувствуется веяние **духа правды**, дышащего на нас через художника.

II. Князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов

Прежде всего, пятый том занимающего нас сочинения по преимуществу есть том самый военный. В этом томе автор даже чаще отказывает себе в очевидной для него потребности покинуть порою нить рассказа и уноситься в область рассуждений – так сказать, **пофилософствовать**. Только в начале две первые главы первой части пятого тома имеют такие этюды, по поводу которых стоило бы нечто заметить, но на которых нам в газете также не пора останавливаться. Говоря о манере автора философствовать, мы просим не заподозрить нас в том, что мы ставим это в укор гр. Толстому. Мы как нельзя более далеки от этого. Мы вполне разделяем мнение другого нашего даровитого романиста, Ив. Ал. Гончарова, который в одном месте «Обрыва», нового прекрасного романа, о котором мы также дадим отчет нашим читателям, говорит, что «роман может поглощать все», в романе терпимы и уместны всякие отступления от рассказа, все роды литературы, «кроме скучного». Мы говорим, что в пятом томе «Войны и мира» меньше философствований, просто, не придавая этому никакого особого значения. Пятый том сочинений гр. Толстого носит на себе печать тех самых отношений автора к причине событий, какая лежит на всем сказанном им в четырех первых частях его сочинения. Это тот взгляд, который вызвал уже против Л. Н. Толстого возражения Норова и многих других современников отечественной войны и новейших военных специалистов-мыслителей. Автор «Войны и мира» не признает во всех событиях войны двенадцатого года ничего предугаданного, предусмотренного и совершенного по плану. По его выводам и заключениям, **событиями** управляют не главнокомандующие, не диспозиции, а нечто совершенно другое. Наш художник, стремясь осветить по-своему события отечественной войны, доказывает, что кн. Кутузов, которому приписана безмерная дальновидность, не имел вовсе определенного плана действий. С тех пор, как светлейший получил власть действовать в звании главнокомандующего, до тех пор, пока французы бежали из России и «старый человек», как автор называет кн. Кутузова, радостно заплакал и воскликнул богу, что «молитва его услышана», дело отечества жило духом народа и духом «старого человека», а не его и ничьими другими предсуждениями, предначертаниями и планами. Умы кипятились и действовали только в суетливой среде одних мелких и крупных интриганов, работавших своими самолюбиями в нетленном и бесстрастном Петербурге и в штабе армии вокруг дремавшего «старого человека». В этой характеристике времени чувствуется большая правда. Каждому из нас, до кого путем семейных преданий дошли простые, не подкрашенные подогретым заносчивостью патриотическим задором, рассказы о событиях 1812 года, более или менее всегда были известны многие детали этой эпохи не в том подцвеченном виде, в каком представляли их военные историки, реляции и тенденциозные романисты (ряд которых начался не с гг. Писемского и Чернышевского), а в той простоте, в какой рисует их нынче во всей их совокупности автор «Войны и мира». Дело было гораздо проще; и делали спасение отечества не энтузиасты и не интриганы, которые во все времена пригодны лишь к тому, чтобы, не делая дела, суетиться во имя дела. Истинные спасители страны спасали ее, заботясь всяк об исполнении своего ближайшего долга. Так вели себя народ, московские обыватели, солдаты и строевые офицеры армии, Кутузов и государь Александр Павлович. Ум Руси не гарцевал, а скорее цепенел в полудремоте, надеясь на промысл и своего дремлющего «старого человека». Кн. Кутузов, как полагает автор (в том с ним и можно согласиться), не знал, что делать. Он так же не хотел отстаивать Москвы, как не хотел он и сдавать ее. В третьей главе первой части пятого тома гр. Толстой подкрепляет этот вывод описанием такой сцены:

Когда Ермолов, посланный к Кутузову для того, чтобы осмотреть позицию, сказал фельдмаршалу, что под Москвою на этой позиции нельзя драться и надо отступить, Кутузов посмотрел на него молча.

«Дай-ка руку», – сказал он, и, повернув ее так, чтобы ощупать его пульс, он сказал:

«Ты нездоров, голубчик, подумай, что ты говоришь». Кутузов еще не мог понять того, чтобы было возможно отступить за Москву без сражения.

За этим гр. Толстой представляет нам Кутузова на Поклонной горе, в шести верстах от Драгомиловской заставы. Фельдмаршал сидит на лавке, на краю дороги. Около него огромная толпа генералов, и между ними граф Раstopчин. Этот «главнокомандующий Москвы» приехал из столицы и присоединился к свите фельдмаршала. В блестящем обществе, окружающем «старого человека», все говорят между собою шепотом о выгодах и невыгодах позиции; все с усилием держатся **на высоте положения**.

Одни говорили о выбранной позиции, критикуя не столько самую позицию, сколько умственные способности тех, которые ее выбрали; другие доказывали, что ошибка сделана была прежде, что надо было принять сражение еще третьего дня; третьи говорили о битве при Саламанке, про которую рассказывал только что приехавший француз Кросар в испанской мундире.

Везде и на каждом шагу видны мелкие страсти, и егизится и кишит мелкое самолюбие, переходящее при всяком случае в пышные фанфаронады. Так, например:

Гр. Раstopчин говорил о том, что он с московскою дружиною готов погибнуть под стенами столицы, но что все-таки не может не сожалеть о той неизвестности, в которой он был оставлен, и что если бы он это знал прежде, было бы другое. Шестые, наконец, – прибавляет автор, – говорили совершенную бессмыслицу. Лицо Кутузова становилось все озабоченнее и печальнее. Из всех разговоров этих Кутузов видел одно – защищать Москву не было никакой физической возможности, в полном значении этих слов, то есть до такой степени не было возможности, что ежели бы какой-нибудь безумный главнокомандующий отдал приказ о начатии сражения, то произошла бы путаница, и сражения все-таки не было бы, не было бы потому, что все высшие начальники не только признавали эту позицию невозможною, но в разговорах своих обсуждали только то, что произойдет после несомненного оставления этой позиции. Как же могли начальники вести свои войска на поле сражения, которое они считали невозможным? Низшие начальники, даже солдаты (которые тоже рассуждают), также признавали позицию невозможною и потому не могли одни драться с уверенностью в поражении. Ежели Бенигсен настаивал на защите этой позиции и другие еще обсуживали ее, то вопрос этот уже не имел значения сам по себе, а имел значение только как предлог для ссоры и интриги. Это понимал Кутузов.

Бенигсен, выбрав позицию, горячо выставляя свой русский патриотизм (которого не мог не морщась выслушивать Кутузов), настаивал на защите Москвы. Кутузов ясно, как день, видел цель Бенигсена; в случае неудачи защиты свалить вину на Кутузова, доведшего войско без сражения до Воробьевых гор, а в случае успеха себе приписать его; в случае же отказа очистить себя в преступлении оставления Москвы. Но этот вопрос интриги не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его,

и на вопрос этот никто не давал ответа. Вопрос теперь состоял только в том, что «неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал? Когда это решилось? Неужели вчера, когда я послал к Платову приказ отступить, или третьего дня вечером, когда я задремал и приказал Бенигсену распорядиться? Или еще прежде?.. Но когда же, когда решилось это страшное дело? Москва должна быть оставлена; войска должны отступить, и надо отдать это приказание». Отдать это страшное приказание, казалось ему, одно и то же, что отказаться от командования армиею. А мало того, что он любил власть, привык к ней (почет, отдаваемый кн. Прозоровскому, при котором он состоял в Турции, дразнил его), он был убежден, что ему предназначено спасение России, и потому только, против воли государя и по воле народа, он был выбран главнокомандующим. Он был убежден, что он один в этих трудных условиях мог держаться во главе армии, что он один во всем мире был в состоянии без содрогания и ужаса считать своим противником Наполеона, и он ужасался мысли о том приказании, которое он должен был отдать.

Фельдмаршал понимал, что ему решительно не на кого опереться, что мелкие страсти и интриги, кишмя кишасшие вокруг него, за своими заботами совсем позабудут дело, и вот в следующей главе мы видим Кутузова в избе мужика Андрея Савостьянова. Здесь в два часа происходит военный совет. Описание этого совета тоже необыкновенно интересно. Мужики и бабы большой семьи Андрея Савостьянова теснятся в черной избе. Одна только внучка хозяйина, шестилетняя девочка Малаша, остается на печке и смотрит на светлейшего, который приласкал ее за чаем и дал ей кусок сахара. Ребенок, глядя с печи на Кутузова «дедушку», детским чутьем своим понимает, что здесь «все как бы **против дедушки**». Кутузов сидел особо от всех в темном углу за печкою. Вот как изображает здесь автор **старого человека**:

Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно побрякивал и поправлял воротник сюртука, который, хоть и расстегнутый, все-таки как бы жал его шею. Адьютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал рукою, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.

Собирается совет. За еловым крестьянским столом мы видим Ермолова, Кайсарова, Толя, Баркляя-де-Толли с его высоким лбом, сливающимся с голою головою, Уварова, кругленького Дохтурова, Остермана-Толстого, Раевского и Коновницына. Все ждут Бенигсена, «который доканчивал свой вкусный обед, под предлогом нового осмотра позиции». Его ждали от четырех до шести часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихим голосом вели посторонние разговоры.

Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но на столько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.

Бенигсен открыл совет вопросом: «оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое серьезное молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось; он точно собрался плакать, но это продолжалось недолго.

– Священную, древнюю столицу России! – вдруг заговорил Кутузов, повторяя сердитым голосом слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. – Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым

телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасение России в армии. Выгодно ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения?» Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение. (Он откачнулся назад на спинку кресла.)

Начинаются длинные прения, наблюдая которые, ребенку Малаше еще яснее чудится, **«что дело все только в личной борьбе между дедушкой и «длиннополым»**, как она называла Бенигсена.

Прения эти бог знает чем бы окончились, если бы Кутузов не закончил:

«Итак, господа, видно мне платить за перебитые горшки». И, медленно поднявшись, он подошел к столу и добавил: «Властию, врученную мне моим государем и отечеством, я приказываю отступление».

Таким представляет гр. Лев Николаевич этого «старого человека», против которого кипели интриги и шипело злобою все его окружавшее, но который избран к спасению отечества непостижимым образом сложившеюся и высказавшеюся волею народа, как бы отождествлял в себе дух целого народа, и в эти великие минуты, и спя и бодрствуя, он чувствовал себя ковчегом, в который сложен для чуда засохший жезл народа. Он «был убежден, что в нем суждено расцвести этому жезлу, он в это верил, и в этой вере он черпал свою силу выживания и не смущался кишашею вокруг его пустою суетою, которая способна была бы сбить с рельсов и обессилить всякою, менее его крепкого владычным духом».

III. Граф Растопчин

Совершенно не то, что мы видели в представленном нам графом Толстым изображении светлейшего Кутузова, являет нам другое историческое лицо того же времени – главнокомандующий Москвы, граф Растопчин. Как тот представляет нам собою образец спокойной, самообладающей силы, то дремлющей, то возносящейся в моменты действия до истинного величия, так этот может служить образцом бравурной суетливости, возбуждающей в минуты благоприятные для жизни этого героя смех, а в моменты критические – горькое сожаление о нем и о всех деятелях подобного ему характера. Фразистый патриотизм, какая-то кипяченая верченность, русская балаганность пополам с французским гаменством главнокомандующего Москвы устроят во вверенной ему столице такой порядок, какой себе даже трудно представить. Оставление Москвы представляет ужасающую картину неопишуемых беспорядков. Благоразумно и с толком столицу оставили только те из ее жителей, которые не слушались главнокомандующего и убегали куда мог, за добра ума. Те же, которые имели неосторожность послушать шаловливых уветов Растопчина, испили во славу его вполне горькую чашу. Побег московских обывателей из столицы в последние дни, до которых додержал их Растопчин, хвалясь, что побьет Наполеона, выйдя на него с московскими барышнями, был ужасен. Такого беспорядка и таких несчастий нельзя было бы ожидать и сотой доли, если бы действия Растопчина были хоть на волос серьезнее и обдуманнее, или, может быть, еще лучше, если бы Москвою вовсе никто не командовал. Мы выше сказали, почему светлейший князь Кутузов не мог устроить дела иначе, как они стали. Москва **не могла** быть защищена армиею, и Кутузов должен был вести войска к отступлению, хоть он, по всей вероятности, в это время не имел никакого дальнейшего плана действий, и сам не знал, к чему поведут его эти отступления. Он видел только, что отступление армии за Москву необходимо, что держаться нельзя, что вместо того, чтобы терять Москву **и армию**, гораздо благоразумнее решиться потерять **одну Москву, без армии**. Растопчину теперь, в силу этого решения фельдмаршала, предстояло регулировать очищение жителями столицы. **Это нельзя считать очень великим: это, пожалуй, сделал бы всякий хороший** обер-полицеймейстер. Вся задача Растопчина (единственная, исполняя которую он мог бы посуетиться с пользой) заключалась в том, чтобы обсудить с остающимися в городе представителями населения положение столицы и с общего совета предпринять самые несложные меры, чтобы жители, желающие оставить беззащитную Москву, выезжали и выходили из города, соблюдая возможный порядок. Растопчину не удалось сделать путем и этого. Он прежде всего ни с кем не совещается, а шумит и ершится со своим вздутым патриотическим задором. Для него не существуют **невозможности**, обуславливающие необходимость отступления, как для Кутузова. Его поражает **срамность** необходимой меры, совершаемой на основании математически верного вычисления, что выгоднее – потерять Москву **и армию** или одну Москву **без армии**? Ему до всего этого дела нет, он видит в этом только срам и пропажу эффекта, какой бы он мог произвести с шаром Леппиха, образом Иверской и сражающимися против французов московскими барышнями. Растопчин кричит, что Москва не будет ни за что сдана, и рассылет в этом духе афиши, писанные мужичьим языком, который его сиятельство, как и многие наши люди высокого положения, имеют слабость считать языком народным и потому особенно внятнм и внушительным. Московские жители еще в июне и июле месяце предвидели или предчувствовали, что Москве не удержаться, и в начале августа начали уже выезжать из столицы. Это, конечно, было прекрасно и для тех, кто спасался, и для тех, которые оставались в городе; жизненные продукты дешевели бы, не было бы лишней суеты: каждый, имея свободу ехать или оставаться, зрелее бы обсуждал бы свое положение. Но Растопчин видел в этом вред.

«Стыдно бежать от опасности, только трусы бегут из Москвы», – говорил он по этому поводу в своих афишах, которые, как беспощадно выражается автор «Войны и мира», обыкновенно были писаны **«ерническим языком»**. Но, по несчастью, авторитет высокого положения графа Растопчина, несмотря на всю нелепость его «писанных ерническим языком афиш», все-таки был столь влиятелен, что главнокомандующему Москвы удалось кое-кого застыдить своими афишами. Название «труса» было неприятно, и потому многие, чтобы не получить этой клички, стали удирать из Москвы крадком, потихоньку. Упрекать в этом московских обывателей было смешно, а их упрекал сам главнокомандующий. Они не рассуждали о том, хорошо или худо им будет, если французы начнут управлять ими; им просто под управлением французов нельзя было быть, это им было хуже всего, и они уезжали, кто куда мог, со своими семьями. Правда, что Растопчин хвалился им даже намерением поднять Иверскую и указывал им на построенный Лепихом воздушный шар, с помощью которого Растопчин обещал погубить французов, указывал он и на другой вздор, о котором подробно писал народу в своих афишах; но москвичи знали, что войско должно драться, и если оно не может драться, то Растопчин с московскими барышнями и дворовыми людьми хоть если и выйдет на Три Горки воевать против Наполеона, то вряд ли Наполеона одолеет, и поэтому здравый смысл говорил москвичам, что балагурств поставленного над ними командира слушать нечего и надо уезжать; они и уезжали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.